

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



## ДЕТИ ПОБЕДЫ

РАССКАЗЫ

### ПОДАРОК НАШИМ

Мои первые воспоминания, как, наверное, и у всех сверстников, чьё раннее детство выпало на начальные сороковые прошлого века, неизменно связаны с войной. Точнее сказать, с далёкими грозными отголосками её, долетавшими до нашей сибирской глубинки. Отрывочные и порой зыбкие, воспоминания эти, как ни странно, с годами не тускнеют, а, кажется, напротив — становятся более яркими и острее бередают душу.

Памятны мне, к примеру, девичьи посиделки в нашем доме. Это когда в долгие зимние вечера к нам приходили подружки моей “няньки”, старшей сестры Марфуши. Приодетые в “чистое”, с цветными косоплётками в косах, они садились за вязанье, за пряжу, да и ткацкий станок стоял тут же, и, не отрываясь от рукоделий, вели бесконечные разговоры. Делились сельскими новостями, вестями с фронта, пели вполголоса песни, тягучие старинные и свежие, рождённые войной, — о том, как “дрались по-геройски, по-русски” с фашистами “два друга в пехоте морской”, как партизаны “уходили в поход на врага”. Конечно, здесь же, возле взрослых, толклись и мы с Валькой, средней сестрой. Её мастерицы иногда приобщали к какому-нибудь делу. Мне же доставалась только роль созерцателя.

---

*ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Красноярского края в крестьянской семье. По образованию — учитель словесности, журналист. Автор многих книг поэзии, прозы, публицистики, изданных в Красноярске и Москве. Заслуженный работник культуры РФ. Возглавлял краевое отделение СП России. В “Нашем современнике” на протяжении нескольких десятилетий выступал с рассказами и стихами. Живёт в Красноярске.*

Одни такие посиделки вспоминаются особенно подробно. В тот зимний вечер ещё с белёсых сумерек у нас собрались нянькины подружки — статные, чернобровые сёстры Аня и Дуся Кондратьевы, жившие по соседству, и юркая “белянка” Стюра Смертина с заречной улочки. Они были оживлены более обычного, словно спешили куда-то. Едва раздевшись у порога, тотчас присели к столу, вынули из сумок и корзинок разные рукоделия и принялись за работу.

Мама на правах хозяйки предложила им погреться с мороза чайком, но они отказались, сославшись на то, что уже повечеряли дома, да и некогда нынче чай распивать. В ловких руках сестёр Кондратьевых засверкали железные спицы, Аня взялась в дополнение к принесённому довязывать шерстяные носки, а Дуся — шарф. Стюра, скорая на выдумку, вызвалась “на одну спицу”, на особую, плоскую, с проушиной над носиком, связать отменно тёплые “бойцовские” варежки с двумя напалками под большой и указательный пальцы — для удобства при стрельбе. Нянька Марфуша выложила дюжину кисетов, сшитых накануне матерью-портнихой из красного плиса, лоскут которого у неё сохранился от куртки, справленной чуть ли не в девичество, и под общие похвалы и поощрения решила вышить на них узоры с дарственными надписями. Варианты этих надписей долго выдумывать не пришлось. Они посыпались справа и слева: “Бей врага с огоньком!”, “Возвращайся скорее!”, “Закурим, товарищ...”

Мама, увлечённая общим деловитым настроением, тоже не осталась без работы: она села за кросны, чтобы продолжить тканье домашнего сукна — тёплого и ноского полотна с шерстяной и холщовой нитью, незаменимого в роли портянок, хоть крестьянских, хоть солдатских. Не находила пока своего дела лишь Валька-школьница, металась между мастерицами, стараясь помочь каждой, чем могла: то подать ножницы, то вставить иголку, то поддержать моток пряжи на вытянутых руках или смотать её в клубок, а то накрутить утёк на цевку для ткацкого челнока.

С понятным любопытством наблюдал я за всем этим с полатей сквозь щёлку в раздвинутой занавеске. Из доносившихся разговоров мне скоро стало понятно, прочему нянька и её гости особенно спешили с рукоделием на нынешних посиделках. Ожидалось, что завтра через наше село пройдёт из райцентра Каратуза в город Минусинск очередной конный обоз “Всё для фронта, всё для победы!” В нём уже были посылки для бойцов от нашего колхоза и жителей села, заранее отправленные на районный приёмный пункт. Но сегодня колхозное правление решило добавить к тому обозу дополнительную подводу с подарками и обратилось к селянам с просьбой срочно собрать новый санный воз. И вот теперь все спешно готовили к отправке, кто что мог, — от сухарей, сушёной картошки, солёного сала до варежек, кисетов и носовых платков.

Общее стремление поучаствовать в приближении победы над фашистами передалось и мне. Наблюдая с полатей за увлечённой работой рукодельниц, я невольно призадумался о том, чем бы мог подсобить фронтовикам. И меня посетила одна нехитрая, но дельная мысль. Я вспомнил, что недавно, когда мать раскроила разом две большущие тыквы, чтобы натомить парёнок в русской печи, выгреб из них несколько горстей превосходных семечек, крупных и тугих от спелости. Они теперь сушились на голландке, рассыпанные тонким слоем на листках бумаги, которые я вырвал из старой Валькиной тетради по арифметике. И уже наверняка подсохли. Почему бы их тоже не отправить на фронт в виде гостинца для наших бойцов? Мне даже представилось живо, как молодой солдат, похожий на братку Ваню, или пожилой, усатый, вроде отца (а может, кто из них самих!), в час отдыха “в лесу прифронтовом” получает в подарок от “тружеников тыла” мои ядрёные семечки, охотно шелушит их, угощает боевых друзей, и они вместе вспоминают свой дом, огород, родных...

И я, не теряя времени даром, задёрнул занавеску, осторожно, чтобы не привлекать к себе внимания, слез с полатей и прошмыгнул мимо сестёр и гостей в горницу. Погружённые в свои занятия, рукодельницы, кажется, даже не заметили меня. Правда, Валька вопросительно дёрнула головой, куда, мол, тебя несёт на ночь глядя, но я промолчал, и она вслух ни о чём не спросила.

После света от двух керосиновых ламп, горевших в передней комнате, — одна на столе, другая под потолком над креслами, — горница мне сначала показалась тёмнее чулана, однако скоро я пригляделся, из сумрака чётко проступили окна с занавесками, стол, шкаф, Валькина кровать, но прежде всего — голландка, потому что она топила, и в округлом поддувале плясали языки пламени, отбрасывая блики на стену. Я пододвинул к ней табуретку, поднялся на неё и достал с высокого обогревателя один за другим листки бумаги с тыквенными семечками. Они действительно оказались сухими, вполне готовыми к употреблению. Я даже расщелкнул одно семечко и нашёл его зрелое ядрышко довольно вкусным.

Но теперь предо мною встала задача, во что и как запаковать семечки для отправки. Я хотел, было, спросить совета у матери или няньки, но подумал, что они могут отвергнуть, да ещё, чего доброго, осмеять мою затею, и не стал пока никого посвящать в свои планы. Поразмыслив, решил сам сделать кулёк, этакий объёмистый конверт из подручной бумаги, и наполнить его семечками. Очень кстати оказался чугунок с картошкой в мундире, стоявший на плите. Он был сдвинут на самый краешек, это означало, что клубни уже сварились и вполне могли согдиться для склеивания конверта. Картошка вообще служила самым ходовым бумажным клеем в те скудные времена, фабричного “конторского” просто не водилось...

Горячую картофелину, вынутую из чугунка, пришлось покидать из ладошки в ладошку, прежде чем положить рядом с семенами на табуретку. Затем я передвинул её поближе к поддувалу, источавшему тепло и свет, встал перед нею на колени и приступил к делу.

Кулёк-конверт из тетрадных листков вышел на славу — вместительный и прочный. На лицевой стороне между строчками, исписанными Валькой, обнаружилась довольно широкая, почти в ладошку, чистая полоса. И это навело меня на новую мысль — подписать конверт, то есть поставить на нём имя отправителя. Надобно сказать, что к тому времени я, хотя и не ходил ещё в школу, но уже с помощью Вальки выучил буквы, немного умел читать по складам и даже писать некоторые слова. Особенно неплохо получалось у меня начертание собственного имени. И вот я нашарил в Валькиной сумке, лежавшей рядом на столе, знакомый “фимический” карандаш и обильно послунив его, вывел на чистой полоске конверта крупными печатными буквами “САША”. А чтоб ещё блеснуть знаниями перед тем незначимым бойцом, которому достанутся мои семечки, снизу словно бы подчеркнул буквенное имя надписью его азбукой Морзе: три точки, точка-черточка, четыре чёрточки и снова точка-чёрточка... Всей телеграфной азбуки я не знал, но нескольким буквам меня научил приятель Гришка Кистин. Он был года на два постарше меня, ходил в школу, владел грамотой и уже сам писал письма старшему брату, служившему на Тихоокеанском флоте. Брат был помощником радиста на корабле и в одном из писем прислал Гришке ту самую азбуку Морзе. Ну, а Гришка познакомил с нею своих приятелей, в том числе и меня. Так что, можно сказать, мне довелось осваивать две азбуки почти одновременно.

Надписав “двуазбучно” своё имя, я уже собирался выйти к сёстрам и гостям, чтобы передать собственный подарок для фронта, однако в последний момент скользнул взглядом по надписи ещё разок и вдруг спохватился, что одного имени явно недостаточно. Оно, в сущности, ничего не скажет тому, кому вручат моё послание. “Что значит САША? — спросит он. — В кульке Саша? Или, поди, сажа?” Ведь и так можно подумать. Надо было мне, растяпе, указать, от кого эти семечки, написать: “От Саши”. Но теперь исправить “а” на “и” не так-то просто. При любом старании получится мазня. А как написать “и” да ещё “от” азбукой Морзе, мне вообще было не известно. И я не придумал ничего лучше, как подставить слева жирное “от” обычными буквами и успокоиться.

С тем и поспешил в переднюю комнату, к мастерицам. Но едва успел заявить им о своём пакете с тыквенными семечками, как Валька, вертевшаяся возле взрослых, выхватила его из моих рук и, повернув к свету, громко прочитала по слогам:

— От Са-ша! От Соединённых Штатов, что ли? Семечки от Америки! — и залилась звонким дурашливым смехом.

Она тут же пустила мой подарок по кругу, и все гости, принимая его, тоже запрыскали в ладошки, потешаясь над моей оплошностью. У меня от стыда и обиды загорелись уши и на глаза навернулись слёзы. Я уже пожалел, что вообще показал свой подарок. Но мне на выручку пришла нянька Марфуша:

— Хватит изгаляться над парнем, он старался, как мог! — окоротила она пересмешиц. Мне же посоветовала: — Добавь слева “шэ” и “лэ”, а “о” переделай в “ё”, и будет нормально: “Шлёт Саша”...

— А вот тут накарябай “американец”, — съязвила Валька, к которой, обойдя круг, вернулся кулёк, но её уже никто не поддерживал. Я вырвал свой пакет из Валькиных рук и, молча развернувшись, шмыгнул на полати. Там подполз на четвереньках к лежанке и задёрнул занавеску, чтоб не слышать лукавых извинений и уговоров, доносившихся из-за стола. Впрочем, они доносились недолго. Разговоры о моей персоне скоро сменились другими. Мне осталось только отойти ко сну, и я, сквозь дремоту решив ничего не исправлять на своём конверте, заснул в обнимку с ним.

А рано утром меня разбудила мама. Она заглянула ко мне на полати, приподняв занавеску, и ласково спросила:

— Шурик, где твой подарок-то? Марфуша упаковала общую посылку, и подвода уже у ворот.

Я с готовностью протянул ей свой пакет, забыв про все вчерашние обиды. Нянька, не читая злопудучной надписи, сунула его в мешок, наполненный доверху подарками, и затянула шпагатом горловину. Потом повязала шаль, надела фуфайку, забросила мешок на плечо и скрылась за дверью.

Мне захотелось посмотреть на то, как поедет на фронт мой подарок. Я тотчас спрыгнул с полатей и прильнул к окну. Утренний морозец подёрнул стекло белёсыми кружевами, но всё же мне видно было, как нянька передала мешок бородатому Петру Лукьянову, старому конюху, сидевшему в санях. Дед уложил его поверх других подобных, покивал головой и взял в руки вожжи. Рыжка, знакомый мне долгоногий коняга из нашей пятой бригады, стронул воз и, ускоряя шаг, потянул его далее, к домам моих соседних приятелей — Пашки Звягина, Ванчи Тёплых, Тольки Платонова, где уже стояли у ворот мешки с подготовленными подарками “для фронта, для победы”.

## МОЛЧАЛИВЫЙ ШАБЁР

Не помню его полного имени. Впрочем, и неполного — тоже не помню. В селе его звали просто Шабёр. Это было прозвище. И мне почему-то казалось, что оно дано старику удивительно точно. Может, потому, что слово “шабёр” созвучно слову “бобёр”, обозначающему молчаливого, неспешного, но обстоятельного и неутомимого лесного работягу, который живёт в самых глухих местах бирюк бирюком, хоронясь от постороннего глаза, и возводит в тишине плотины, целые каскады прудов... А именно таким немногословным и с виду угрюмоватым работягой был этот странный дед, живший наискосок от нас.

Я дружил с его худеньким внуком Янкой, прихрамывавшим с каким-то боковым креном и постоянно сутулившим свои узенькие плечи, словно его знобило. У Янки была фамилия Андреев, но мы его звали Янкой Шабровым, а зачастую и просто Шабрёнком. Янка был добрым, безобидным пацаном, доверчивым и привязчивым. Однако в свой дом приглашал неохотно, должно быть, побаивался сурового деда. И эта малодоступность шабровского подворья делала его еще более притягательным, таинственным.

Шабровский двор одним боком выходил в переулочек, ведущий к Тиминому пруду, к которому легкой порой мы шныряли по сорок раз на дню. Пробегая вдоль старого заплота, щелястых ворот и щербатого тына, мы не упускали случая заглянуть за ограду, чтобы узнать, что там происходит. Однако,

несмотря на загадочный нрав хозяина, в его владениях обычно не происходило ничего особенного. Как и во всяком другом деревенском дворе, стояли косяя хлевушка, подслеповатая банька, бревенчатый амбарчик, козлина под навесом, долблёное корыто посреди двора — водопой для скотины. У крыльца, лениво отбросив толстый хвост, вечно лежал старый лохматый кобель, по шабровской кличке Полкан, а по нашей — Бельмач, потому что один глаз у него был затянут, точно шторкой, синеватым бельмом. По двору бродили чёрные, как галки, рябые и охристо-пёстрые курицы во главе с бронзовогрудым петухом. В пригончике металась и с вызывающей требовательностью визжала свинья, не то слишком свободолюбивая, не то голодная.

Словом, всё было так, как в любом крестьянском дворе. И если мы с любопытством припадали к заплоту, то нас интересовал собственно не двор, а хозяин его, дед Шабёр. Да и то не всегда. По весне и зиме мы почти не обращали на него внимания. Но поближе к лету он начинал интересоваться нас всё больше и больше. А с начала июля мы устанавливали за ним что-то вроде слежки. И если прежде мы лишь походя заглядывали в щели ворот и заплота, то теперь дежурили возле них от зари до зари, сменяя друг друга у пункта наблюдения.

Дед неизменно торчал во дворе или в огороде. Его сивая, лопатой, борода под высокой самодельной шляпой, натянутой до ушей, то и дело проплывала вдоль забора, или выныривала из-под навеса, или мелькала между подсолнухами. С утра дед крутился по двору с метлой, вздымая пыль, потом пилил, строгал, что-то мастерил за верстаком под крышей, спускался к речке за водой, впрягшись в оглобли гремучей тележки, на которой подпрыгивала ушастая кадушка, ходил с трещоткой, строчившей, как пулемёт, по огороду, пугая воробьёв и бродячих кур, охочих до чужого овоща, топил чашу в бане... Если кто-то здоровался с ним, он ничего не отвечал, а только поворачивал голову и встряхивал бородой. Шабёр он и есть Шабёр. Недаром отец мой, вытягивая из меня признания после очередной проделки, восклицал в сердцах: “Чего ты молчишь, как Шабёр!”

Так вот, когда наступало лето, мы с пристальным вниманием следили за передвижениями деда по огороду, в особенности в том конце его, где за гордью начинался золотой от донника склон косогора. У подножия его стояли выстроенные в ряд дедовы ульи и колодки. Дед всё чаще вынимал рамки с сотами и придирчиво разглядывал их, поворачивая к солнцу. Мы с нетерпением ждали, когда он начнёт качку мёда. И важно не пропустить этот момент, не отлучиться ненароком, не прокараулить столь важного события для нас, деревенских ребятшек.

В это время мы старались всячески задобрить его бесхитростного внука Янку, чтобы он постоянно держал нас в курсе дела.

И вот однажды жарким июльским днём, когда сам деревенский воздух, кажется, пахнет мёдом, Янка, появившись где-нибудь на пруду или на улице, напускал на себя важность, таинственность и лишь после наших настойчивых допросов с видом заговорщика сообщал: “Качает...”

Да мы уж без Янки знали, что дед нынче качает. Кто-то из наблюдателей уже отметил с утра особое оживление в шабровском дворе. Суетился дед, мечась от амбарчика к бане и к ульям. Вместо обычной валяной шляпы на нём была скафандром натянута сетка с наплечниками, и в руках пофучивал дымом чёрной жести дымарь, похожий на ракету. Металась по двору и бабка Шабриха, сухая, сторбленная старушонка, со старинным повойником под чёрным платком. Проворно выскальзывая из сеней, она пронесла в руках то кринку, то решето, то подойник, то рамку с золотистой вощиной.

По переулку, что вёл к Тиминому пруду, со звонким жужжанием пронеслись золотыми пулями встревоженные шабровские пчёлы. Не одному из наших разведчиков они щёлкали в лоб, не у одного запутывались в волосах, не одному, въедливо зудя, вонзали болочее жало, отчего под кожей тотчас вздувалась сияющая шишка. Но всё же, пренебрегая опасностью, мы к полудню стягивались в переулок и делали вид, что играем в “баши” и “коношники”. А у забора неотступно стоял часовой и полужёпотом докладывал о событиях, происходивших во дворе: “Дед вынес в ограду столы... Бабка

накрывает их клеёнками... Та-ак, расставляет чашки... Шабёр несёт подойник... с мёдом!”

Тут уж все мы не выдерживали, бросали свои понарошечные игры и тоже принимали к щелям забора. Дед уже снова в шляпе, в длинной чистой рубахе, схваченной узким пояском. Эта навывпуск рубаха и серая буйная борода делают его похожим на Льва Толстого. Вот он ставит подойник на стол, берёт деревянную ложку и начинает разливать по глиняным чашкам тёмно-янтарный мёд. А Шабриха полосует ножом круглую подовую булку, припудренную мукой, и возле каждой чашки кладёт по ломтю хлеба. Мы смотрим, не дыша, на всё это священнодействие стариков и в нетерпенье сглатываем слюнки.

Наконец Шабриха направляется к воротам. Идёт прямо на нас. Мы невольно шарахаемся от забора и снова делаем вид, что увлечённо играем в “баши” и что в переулке оказались совершенно случайно в эту минуту. Калитка со скрипом открывается, и бабка, протерев глаза кончиком платка, кричит нам визгливо:

— Ребятишки! А ребятишки! Дедушка мёдом угощает!

Нас два раза приглашать не надо. Но мы некоторое время топчемся у ворот, подталкиваем друг друга, пока не насмелится кто-нибудь первым шагнуть в таинственный и заманчивой двор, а уж за ним, как гусята за гусыней, потянутся цепочкой остальные.

Дед молча, но без торжественности показывает рукой на скамейки. Хлопотливая бабка рассаживает нас против чашек, суёт в руки ломти хлеба — давай, нажимай, не стесняйся. И мы, перемигиваясь, гримасничая и прыская в ладошки от избытка чувств, начинаем наворачивать смолисто сияющий, жарко пахнущий донником и гречихой мёд, работая кусками хлеба, как ложками. Мёд, ещё тёплый и жидкий, струится по пальцам, плывёт по подбородкам, бисерными ниточками перечёркивает клеёнку.

А дед всё так же стоит в стороне, смотрит на нас строгими глазами из-под насупленных бровей и лишь время от времени коротко бросает одни и те же слова:

— Ешь, молодёжь... Расти, молодёжь...

Каждый год он говорил нам эти слова. И только эти. Кажется, это вообще были единственные слова, которые мне довелось слышать из уст чудного сивобородого бирюка. Но потом я узнал, по рассказам старших, что Шабёр был когда-то более общителен и разговорчив. Замолчал он в годы войны, с той поры как подряд получил четыре похоронки — две на сыновей и две на зятьёв...

А много позднее с удивлением открыл я, что слово “шабёр” во многих диалектах и наречиях России означает всего-навсего “сосед”. Даже прочитал в одной старинной летописи, что братенниками или сябрами назывались в древней Руси совладельцы земли, то есть в некотором роде тоже соседи. Переселенец из-под Белоруссии, дед (тогда ещё не дед), должно быть, называл своих новых соседей, сибирских поморцев и чалдонов, шабрами. Вот и его в ответ окрестили Шабром.

Теперь уж давно над ним трава выросла, а в селе ещё многие помнят его. И частенько, если говорят о человеке, внешне суровом, замкнутом, но в сущности добром, то неизменно добавляют: “Хотя и молчит, как Шабёр...”

## МИКИШИН СОН

О чём говорят люди, встретив знакомого врача? Верно. О своих болячках. Ну, а с журналистом, писателем обычно спешат поделиться “сюжетом”, до “описания” которого у самих, мол, не доходят руки. Вот и мне намерен один мой бывший однокашник по вузу, заступив дорогу посреди улицы, доложить первым делом, что он как-то побывал в моём родном селе и встретил там прелюбопытного старика, который “прямо сам в рассказ просится”. Делать нечего, я поднял руки: “Ну, раз уж просится, то валяй”. И приятель, взяв меня за пуговицу, живописал свою памятную встречу примерно таким манером...

— Ждал, — говорит, — я проходящего автобуса, чтоб до райцентра добраться.

Остановка там, как тебе известно, у магазина, поэтому скучать не пришлось. Место людное. Тем более вечер уже был, солнце висело над дальними деревьями.

Смотрел я на селян и всё старался разглядеть героев твоих притч и бывальщин. Но проходили мимо всё обыкновенные люди: женщины в мужских пиджаках и выгоревших платках спешили после работы в магазин, парни в синтетических куртках и джинсах по пути в клуб заходили за папиросами, мужики в замасленных комбинезонах и пыльных фуфайках толпились у ларька, где продавали пиво. Никакой экзотики. Потом, правда, появился старик с прокуренной бородой, но тоже довольно обычный. Меня не удивили даже его старомодный плащ и зимняя шапка — в селе многие с сентября шапки надевают,

Старик поравнялся со мной, повесил хозяйственную сумку на тын палисадника и, улыбнувшись неожиданно смущённой улыбкой, присел рядом на скамью.

— Ждём автобуса, — сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно. Голос глухой, прерывистый. Я кивнул. — И заметьте, не только молодёжь. Старика много едет. “Куда вас, старых, несёт нелёгкая?” — ворчат другой раз молодые. Не понимают они, что нас гонит. И не поймут, что старым человеком овладевает беспокойство, тревога поселяется в нём, его всегда манит куда-то. Это перед концом земного пути, перед вечным покоем, прости, Господи...

Я насторожился. Неожиданное суждение старика показалось интересным, глубоким. Присмотрелся внимательней к деревенскому философу. Худой, ширококостный старик. Голубоватая кожа бритого лица полупрозрачна. При разговоре кадык снуёт челноком вверх-вниз. Глаза ввалились, слезятся, как у трахмного, однако смотрят живо, горячо, искрятся чувством и мыслью.

— А больше всего манит в наше детство, в молодость, на дороги прошлого, — сказал старик, помолчав. — Меня вот, к примеру, зовёт Белоруссия. Корни мои там. В Сибирь мальцом привезли родители, в двадцатых, от голодухи. Потом с войной проходил родные места... Я не помешал?

— Нет, что вы! Пожалуйста, говорите.

— Мда... Помню в такой же вот день осенью, листва уж падала с деревьев, стояли мы там на передовой. Ложок такой был, берёзы по гребешку оторочкой. Дальше — равнина болотистая, открытая, а за ней в лесу — немец. Тогда затишье небольшое образовалось после боя. Порядочно потрепало наши ряды. Ждали подкрепления. И немец тоже молчал, раны зализывал — крепко ему накануне всыпали.

После двух бессонных ночей, помню, отстоял я ещё одну в карауле, перемёрз, изматался совсем, на ногах еле держался. А наутро разрешил мне ротный соснуть пару часов. Ушёл я в край окна, гнездо соорудил из жухлой травы, листьев, из веток, нашёл какого-то брезента кусок и как лёг, так и провалился. Никогда столь крепко не спал в жизни. Потом проснулся, так ажно слони растеклись по рукаву шинели — сладко соснул. Пробудился, однако, в душевной тревоге. Сон мне явился. Такой, брат, яркий, какие редко бывают и помнятся потом до гробовой доски.

А приснилось мне, что будто иду я лугом, вот здесь, за нашей деревней. Солнце, цветы кругом, шмели гудят, жаворонки заливаются, и так хорошо у меня на душе. Но вдруг навстречу выходит из березняка старуха с литовкой на плече. Незнакомая, ненашенская. Худая, как тень, и чёрным платком повязана. “Здравствуй, — говорит, — Василий, чего это ты прохлаждаешься? Сенокос на дворе, косить пора, смотри, травы-то нынче какие, пошли-ка в ложок, я там тебе покосец присмотрела...” Говорит, а сама как-то нехорошо на меня глядит, недобро, и лицо у неё белое-белое, как смерть. Подходит ещё ближе, литовку снимает, а я ни словечка выговорить не могу, вроде оттох язык у меня, и только машу ей, дескать, уходи, уходи, старая! Ослабилась она редкими зубами, повернулась круто. “Ладно, — говорит, — другому отдам покосец-то...” И проснулся я тут. А проснулся оттого, что дружок

мой Иван Сайко — такой беззаветный мужик был, алтайский — дёргает меня за ногу: “Вставай, — говорит, — Василий, пополнение прибыло. Ротный велел всем начеку быть. Приказ о наступлении ожидается”.

Поднялся я, отряхнулся, а всё не могу опомниться, где это я и что со мной.

— Спишь ещё? — засмеялся Иван.

— Сон я видел, Ванюша, забавный такой...

И рассказал ему всё подробно, как вот тебе. А он послушал и аж с лица сменился. “Ох, — говорит, — Василий, нехорошо это — старуху с косой видеть. Это ж знаешь кто? Это ж она, Безносая, за тобой приходила”.

У меня мурашки по спине побежали. “Ладно, — говорю, — тебе ворожить-то, поживём ещё, Ванёк, повоюем”. — Хлопнул его по плечу и через силу рассмеялся.

А пополнение прибыло — сплошь молодняк. Матросики сухопутные. В бушлатиках, в бескозырочках набекрень и весёлые, будто на свадьбу приехали. Всё шуткой, всё смехом. Быстро перезнакомились со всеми. Меня разом батей окрестили. Я хоть и не старым был, немногим за тридцать перевалило, да ведь обросли мы там, как пеньки, исхудали, на все, поди, шестьдесят смотрелся. К тому же усы я носил, и виски с пробелью были. Это после того, как мне сообщили, что старший сыншика в тылу от дистрофии помер... Такие ловкие ребята прибыли, аж и мы вроде повеселели с ними.

Потом, на склоне дня, вызывает меня ротный к землянке. Ты, говорит, Сухов, постарше, поопытней, сходи-ка осторожненько туда, к лесу, поинтересуйся, что он там делает. Подозрительно: больно тихо себя ведёт, должно, какую хитрую штуку замышляет.

— Есть идти, — говорю. — Только вот... сон я, товарищ командир, больно нехороший давеча видел. Нельзя ли... — И не договорил.

— Что-о? Сны твои гадать будем или воевать? Слышал приказ? — поднялся на меня ротный. Ох, и лютый был, ужас...

И вдруг в этот самый миг подлетает матросик, Коля Воронов, читинский родом был:

— Разрешите мне! Пусть батя отдохнёт, устал человек, нервишки шалят...

Говоря это, старик с неожиданным проворством вскочил со скамьи, молодцевато вытянулся передо мной и взял под козырёк. Но после “доклада” разом смолк и как-то вроде завял, ссутулился, согнулся, точно снова на плечи ему ввалили непомерный груз, и тяжело опустился на скамью. Закрыв глаза, покачал головой в молчании, будто вспоминая о чём-то. Потом заговорил снова:

— Остыл ротный. Подумал, сплюнул и махнул рукой. “Ладно, — говорит, — пойдёшь ты, Воронов, и ты, Сайко”.

Указал на моего дружка алтайского. Тут бы мне встрять и самому вызваться пойти, да убоился страшного сна, промолчал... Ну, и пошли они. Час нету, другой, третий. Ждали мы их, ждали, а потом слышим, по темну уже, пулёмёт у него, у немца, застучал. Дал одну очередь, дал другую — и замёр. Молчок. И тишина опять наступила. Такая, брат, тишина — уши ломит. Только и слышно, как сухая листва на деревьях шелестит, по земле скабарчит...

— На твоей они совести, Сухов! — сказал мне потом ротный в сердцах.

А я и сам так думал. И не могу с той поры слышать, как палый лист шуршит, вздыхает вроде бы. По сердцу сгребёт. И не спится мне осенью, ворячаюсь ночами, как в жару мечусь...

Шумно похав и покачав головой, старик поднялся, погладил поясницу, снял сумку с тына и пошёл вдоль улицы на разбитых ногах.

Так закончил свой рассказ приятель и хитровато взглянул на меня: узнал ли я, о ком идёт речь. Я дал ему время насладиться моим мнимым затруднением, а потом спокойно сказал:

— Всё верно. Только старика того зовут не Василий Сухов, а Никифор Тимохин, по прозвищу Микиша Лёгонький, поскольку в молодости бегучим был, лёгким на ногу. А рассказ, который ты слышал от него, давно уже стал деревенской притчей под названием “Микишин сон”, что значит — сон вещий, пророческий и к тому же тревожащий душу.